

Последний поклон Пустозерску

Среди тех, кто высоко ценил, глубоко чувствовал и понимал мятежную душу правдоискателя Аввакума, его великий дар писателя русского («вот слово-то Бог дал!»), кто осознавал значение Пустозерска в творческой судьбе Аввакума, а значит, и в судьбе русской культуры, был и Федор Александрович Абрамов. Это проявилось в его творчестве, в его стремлении непременно побывать на земле, освященной огнем того костра, на котором был сожжен вождь старообрядчества, писатель земли русской – его брат по духу, его товарищ по перу; сожжен за Слово сказанное, за Слово писанное – за иные, чем «положено» было тогда, мысли.

Гордые слова Аввакума «аще бы не были борцы, не бы даны быша венцы» – они и про Федора Абрамова сказаны...

Было воскресенье августа восемьдесят первого. Я корпел над каким-то очерком и нехотя поднял трубку трезвонившего телефона. Звонила добрая знакомая семьи нашей Мария Александровна Поздеева:

– Вы знаете, что в Нарьян-Маре сейчас писатели Абрамов и Михайлов?..

Весть взволновала меня. Незадолго до этого мы прочли всей семьей тетралогию о Пряслиных, завершенную романом «Дом». Живой болью отозвались в наших душах судьбы Анфисы и Лукашина, Лизы и ее братьев-близнецов, неугомонного неприкаянного Егорши и неукротимого труженика Михаила Пряслина, бескорыстного строителя жизни, которая так часто наказывает невиноватых и награждает не причастных...

Вдруг захотелось увидеть человека, создавшего эти живые образы, и, если получится, поговорить с ним.

Только где его найти? И поговорить – как?.. Но ведь он приехал с критиком Александром Михайловым, уроженцем этих мест, значит, брат его Юрий должен знать, где они сейчас...

Юрия Михайлова, учителя одной из нарьян-марских школ, я давно знал и потому сразу ему позвонил.

– Дак приходи сейчас! – решительно предложил он. – Я их как раз поджидаю. Лодка налажена – в Тельвиску к сестре поедем. Банька там специально натоплена... Приходи давай!..

Я пришел, когда именитых гостей еще не было. Юрий в ожидании топтался на крыльце.

– Во-он идут, кажется...

Пересекая обширный зеленый пустырь, нещадно исполосованный автомашинами, к дому неторопливо приближались двое. Один – легкий, стройный, в светлой кепочке и джинсовом костюме; другой – руки в карманы брюк, сутулый, в черной кожаной куртке и теплой, в «подпалинах» кепке, из-под которой выбивалась на лоб черная прядь, – чуть набычившись, вышагивал рядом.

Они говорили громко, до нас уже доносились отдельные слова и целые фразы, видимо, давно уже вспыхнувшего спора. Речь шла об Александре Блоке...

– И наконец-то нашелся человек, указавший ему на святотатство! – говорила черная куртка джинсовому костюму. – Это же надо! Назвать Русь женой! Да мы веками Русь матушкой называли, в землю ей кланялись, а он – жена, любя, которую в постель кладут, с которой спят! Кто еще осмелится на такую мерзопакость – Русь женой увидеть и назвать?!

В словах клокотала такая ярость, я сразу понял: это Федор Абрамов.

– Ну, у вас, наверное, и другого разговора не бывает, – перебивая спор, весело заговорил Юрий, – Мы тут ждем-ждем да думаем, где, куда пропали, а они...

– Мой брат Юрий, – сказал Михайлов Абрамову.

– А это Виктор Толкачев – журналист, знаток Севера и Аввакума, – представил меня Юрий.

При слове «Аввакум» Абрамов, видно досадуя, что прервали интересный для него спор, хмуро глянул на меня черными глазами и протянул руку.

А я сказал:

– Ваш рассказ «Из колена Аввакумова» поразил меня.

– Вот видишь! – встрепенулся Абрамов, обращаясь к Михайлову. – А ты, великий критик, не читал!..

– Но ты же не изволишь присылать мне свои сочинения, – парировал Михайлов подчеркнуто иронично.

– Ладно, – примирительно махнул рукой Абрамов, – вернись и вышлю тебе все, что накопилось... Так едем, что ли?

Сборы были скорыми.

Капитолина Александровна Михайлова, маленькая ладная старушка, светясь лучистыми глазами, снабдила сыновей и гостя бельем, банными полотенцами, сказала: «Ну, с Богом!».

И все двинулись к берегу, где ожидала нас «налаженная» моторка. Я молча шел рядом. А прерванный было спор о Блоке продолжался с новой силой...

– А это его воспевание резни в поэме «Двенадцать»! Да он же сумасшедшим был! – ярился Абрамов.

– Но благодаря этой «резне», под которой ты разумеешь гражданскую войну, в литературе появились многие... Ты бы вот дальше Пинегы своей и не сунулся. Да и я бы из своей печорской деревеньки Куя далеко бы не ушел, – спокойно и убедительно отвечал Михайлов.

– Ничего подобного! – запальчиво перебивал его Абрамов. – Вышел бы, дошел бы! Талант всегда прокладывает себе дорогу. Возьми Клюева, Чапыгина, Есенина!.. Ломоносов – мужик, а ведь тоже дошел!..

– Ну, во-первых, Ломоносов – из культурного поморского слоя. А во-вторых, против чего вы, товарищ Абрамов, выступаете? Против революции и гражданской войны? – иронично и шутливо уже гасил разгоревшийся спор Михайлов.

– Я против всех и всяческих братоубийственных войн! Это всегда – самоуничтожение. Ни одна культурная страна в XX веке не может, не могла себе позволить этого!..

– А Россия? – подбросил все-таки Михайлов «полешко» в огонь спора.

– Значит, Россия не была такой страной! – не сдавался Абрамов и, помолчав, снова ринулся в драку. – Ну, а что, разве гражданская война да и все другие войны не уничтожали интеллигенцию, не разрушали культуру? Разве в литературу вместе с талантами не хлынул поток бездарностей и хлам, от которого мы до сих пор отплеываемся?..

– Ну-у, Федя, – примирительно протянул Михайлов, – так уж никого не осталось? Вот Жаров, например...

– Жаров – что, он хоть «Гармонь» написал. Я говорю о сегодняшних «великих» поэтах и писателях, пасущих секретариат... Кто там? Вот «великий» поэт Олег Шестинский, или «великий» прозаик Михаил Алексеев и другие... Великие приобретатели дач, привилегий и других благ!

Молчавший все время Юрий захохотал:

– Этак, слушая вас, мы и литературу перестанем читать!..

– И не надо такую читать! – рубанул Абрамов.

Мы уже подошли к берегу. Юрий, обутый в сапоги-бродни, зашел в воду, подтянул лодку, когда все перебрались через борт, оттолкнулся от берега. «Вихрь» завелся быстро, но тянул слабо. Юрий лег на транец и начал что-то соображать в моторе, поручив мне штурвал. Наконец мотор рванул, и мы понеслись по глади протоки.

– Пружину успел кто-то снять! – прокричал Юрий, усаживаясь на капитанское место.

– Вот-вот, – мгновенно отреагировал Абрамов. – Запчастей не хватает, потому и воруют.

– Раньше тоже не у всех всего хватало, – возразил Михайлов. – Но был какой-то нравственный барьер...

– А кто разрушил их? Не твои ли проповедники гражданской и прочей резни? – пытался докричаться Абрамов...

Мы мчались, вспарывая воды Городецкого Шара – полноводной печорской протоки, бегущей от самого Городка – Пустозерска. Справа на пологом возвышении берега чернели избы деревеньки Екуши.

– Невзрачные, невзрачные у вас деревни, – заметил Абрамов, вспомнив, наверное, свою Пинегу, свою Верколу, где не избы – хоромы, увенчанные конями и птицами...

– И в Куе тоже не дома – домишки! – продолжал он, обращаясь к Михайлову.

– Посмотри еще Тельвиску, – кричал Михайлов, – потом скажешь.

– А что это означает?

– Виска – это...

– Это протока. И на Пинеге так. А Тельвиска?..

Но разговаривать было невозможно. Рев мотора заглушал все.

Скоро мы были в Тельвиске.

Гостей ждали. Хозяйка, Ия Алексеевна, хлопотала у печи и колдовала над столом. Хозяин, Николай Владимирович Сумароков, темноволосый, смуглый и кряжистый мужик с лицом, изрытым оспой, молча улыбался, усаживал гостей, подавая стулья левой рукой. Знаменитый на Печоре рыбак, он вынужден был оставить свое ремесло, когда после перенесенного паралича рука стала сохнуть... Но любительскую рыбалку не бросал и хоть одной рукой, но семью свою и белой и красной рыбой баловал. А как иначе? На Печоре веками рыбой жили и сейчас живут...

Он сразу привлек внимание Абрамова. Пошел разговор о Севере и Печоре, о рыбе и ягодах, травах «сейгод» и промыслах зимой...

Зимой Николай Владимирович на собачках ездит – сетки поставить да проверить сыля на куропадок, капканы на песцов. Однажды собачки ему жизнь спасли. Приступ случился сердечный, сознание потерял. Собачки постояли-постояли, а потом развернулись и по следу домой пришли...

– А то замерз бы, ежь твою беть, – ввернул рыбацкую присказку Сумароков и предложил пойти попариться. Натопленная и выстоянная банька обдала сухим жаром. Абрамов сразу полез на полк и, пока Михайлов «поддавал», плеща на раскаленную каменку кипятком, и охаживал его свежим березовым веничком, побрякивая, повторял:

– Сладкая баня! Сла-адкая. А ну, еще поддай!

Блаженно-распаренными возвращались мы в избу. А Михайлов и тут задирает друга:

– Ноги-то, ноги о голик вытри!

– О, и у нас на Пинеге веник так называют, – добродушно улыбался в ответ Абрамов.

Слаще баньки показалась нам и рюмка, обжигающая холодом, и семга свежезасоленная, и уха из «утренних» сигов, и рыбники, и морошка...

После чая все прошлись по деревне. И снова все с тем же неумным любопытством Федор Александрович всматривался в деревенские постройки и находил, что избы печорские проигрывают, уступают пинежским по «всем показателям».

– И стать не та, и красоты нету. У нас ведь и высота, и конек, и подзор с полотенцами резными...

И только когда Михайлов подвел его к старым, в прошлом веке еще рубленным, домам «в два жила», обшитым поседевшими от времени плахами – хоромам с глазастыми окошками, вышкой, повестью, Абрамов потеплел:

– Были, были на Печоре мужики, умевшие избы ставить.

И еще долго он с Михайловым рассматривал неуклюжий и трогательный обелиск, расписанный фамилиями сельчан, сложивших головы свои далеко от Печоры в той страшной войне. Оба они были участниками ее и тоже могли не вернуться. Они вчитывались в длинный поминальный список и молчали...

На следующее утро небо затянули тяжелые тучи. Заморосил дождь. Занепогодило. Ветер гнал рваные облака, лохматил серые волны Печоры, хлестал водяными плетьюми лица, куртку, лодки... Но о том, чтобы отложить поездку, не было и речи. На Севере никогда никто не может точно сказать, сколько будет длиться «погода» и что от нее ждать завтра... Это хорошо понимал Федор Александрович и потому торопил всех своей решимостью. Мы знали, ему пошел шестьдесят второй, а тут такая непогодь!.. Но стремление Абрамова к Пустозерску было несокрушимым...

Больше часа под дождем и ветром резали наши моторки волны расхолодевшего Бабьего моря и обмелевшего Городецкого Шара, пока не замаячили на берегу узкой протоки-виски мокрые избы древней деревеньки Устье. На минуту причалили. Давно и хорошо зная большую семью Хайминых, я забежал к ним и попросил натопить печь да самовар наставить, чтобы тепло и чай были для гостей – «писателей знаменитых», когда мы будем возвращаться из Городка.

Еще несколько минут под хлестким дождем и брызгами расшибающихся волн Пустоозера, еще несколько вылазок на песчаных кошках для бурлацких дел – и наши измотанные «прогрессы» ткнулись в илистое дно, а мы, выбравшись из лодок, двинулись к близкому берегу по воде, «яко по суху».

Дождь не переставал. Струйки воды бежали по лицам и спинам. Все промокли насквозь. Но Абрамов, казалось, ничего этого не замечал. На берегу он вдруг заходил-забегал, часто нагибаясь, будто кланяясь земле, разглядывая травы, набирая букет...

А травостой-то здесь богатый. Как на Пинеге! – удивленно произнес он и зашагал дальше, чуть загребая правой, раненной еще на фронте ногой.

Не останавливаясь под дождем, мы поднялись по мокрому склону, минуя останки древних пустозерских строений. Их нижние венцы, сложенные из лиственничных стволов, сохранила вечная мерзлота. Но печорское весноводье из года в год вымывает их из обрыва и рушит...

Шуршала высокая осока в бисере дождевых капель, мерно шелестел дождь, повизгивали при каждом шаге сапоги-бродни...

На вершине холма, на бетоне площадки перед каменным обелиском, – стали. Перед нами был памятник давно исчезнувшему городу. На него пошли блоки известняка из фундамента последней пустозерской церкви. Ее сруб, когда-то перевезенный в Устье, не стал даже клубом, как в других печорских деревнях. Склад хозяйственного инвентаря, кладовая для комбикормов

и, наконец, – конюшня. Только узорчатая оконная решетка напоминала о ней здесь. Мы молча вчитывались в слова, врезанные в мрамор плиты на обелиске:

«На этом месте находился г. ПУСТОЗЕРСК, основанный в 1499г.» – экономический и культурный центр Печорского края, сыгравший важную роль в освоении Крайнего Севера и в развитии арктического мореплавания. Отсюда выходили промышленники на освоение Новой Земли, Шпицбергена и сибирских рек.

Пустозерск был местом ссылки борцов против крепостнического гнета и царского самодержавия – участников восстания Кондратия Булавина, Степана Разина, Емельяна Пугачева и др. Здесь в XVII веке находились в заключении писатель Аввакум Петров (сожжен в 1682 году за великие «на царский дом хулы») и дипломат Артамон Матвеев...».

И оживала история.

Рядом – древний погост.

В деревянную плоть крестов славянской вязью четко врезаны простые и вечные слова: «Здесь покоится...» И удивительно – не раб Божий, как принято обычно, а «гражданин села Пустозерского Иван Александрович Кожевин, от роду 82 года», «крестьянка деревни Устье Агриппина Ивановна Сумарокова, от роду 92 года», «крестьянский сын», «крестьянская жена»...

Иным крестам до ста лет. Когда-то могучие, богатырского роста, тесанные из лиственниц, увенчанные резными навесами, они еще возвышаются над могилами крестьянских жен и сыновей как последние старожилы, последние подлинники Пустозеска. Они похожи на ратников, что стоят насмерть. Одни еще держатся под натиском времени, другие вот-вот падут. От тех только остовы остались, а этот подкошено рухнул навзничь, раскинув, как руки, крепкие еще поперечины свои. Пройдет время – не станет и их. Источенные временем, порушенные нехристями, тих умрут они в траве и станут прахом. Как и те, чьи могилы они венчают, как и все мы, стоящие сейчас над их вечным покоем...

Ссутулившись, Федор Александрович сурово вглядывался в окружающий его мир, о чем-то сосредоточенно размышляя.

А над нами низкое, распластанное до горизонта небо, рядом – почерневшие от небесной влаги кресты, вокруг пустынного городища – оловянного литья озеро, а за ним желтая коса мыса Виселичного и синяя – осторожная! – стека перелесков.

Что шепчет ему некошенная трава? О чем говорят венцы древних пустозерских построек, которые вымывает весенняя вода в берегах озера?

...Суета и гвалт в остроге, на воеводском подворье. Всюду стрельцы в кафтанах красных с бердышами похаживают. Торговые и служивые людишки амбарными ключами звенят – счет ведут хлебу-соли да пороху, писарские перья скрипят усердно. Сотский покрикивает на каждого, кто под руку попадет...

Да по какому случаю переполох?

Пустозерский воевода, стольник Гавриил Тухачевский царский указ получил на Мезенское воеводство и скорым ходом передает дела и казну новому воеводе – Андрияну Хоненеву. Потому писари товары и припасы пишут. Особый список – для ссыльных и заключенных. В нем – десять Соловецкого монастыря тюремных сидельцев да Аввакум с четырьмя союзниками. Писано, что сидят они «в тюрьме в насыпных и розных избах за караулом пустозерских стрельцов».

Посадский люд тоже топчется тут. Кто просто глаза пялит, а кто в церковь дет. В остроге их три: Никольская, Спасская и Введенская. В Никольской-то служит попенко косою Оська, не умеет трех свиней накормить, а тоже учит, как не худо жить. Да что делать, другие попы не лучше. Никитцыной деревни крестьянин Иван Хаймин положил в церковь пятьдесят копеек, а Дмитрий Никонов из Нарыги – шесть фунтов сала говяжьего, коровью голову и ноги да рубль деньгами.

А в посаде хоть и шумно, но деловито. Ильин день скоро. В Городок первые самоеды приехали. Мягкую рухлядь разложили, да постели оленьи, да одежду самоедскую, для дальних промыслов годную, – торг идет.

Иноземцев сейгод нет. Зато рудознатцы из Москвы пожаловали. Прослышал царь, что в полуночных землях серебряные руды есть, и послал грамотных людей сыскать их. В Пустозерске для них нарочитую избу срубили.

А внизу, у пристани, – кочи да ладьи на воде толкутся, парусами хлопают. Нынче мало их. Тридцать кочей по чистой полой воде далеко ушли – к Матке [поморское название Новой Земли], морского зверя промыслять а китов бить. Отсюда, с воды, Городок хорошо виден: острогом обнесен, наугольные башни да надвратная, с боевым боем, поставлены – для защиты от самоеди вольной, охраны и «опочиву торговых людей, которые ходят из Московского государства в Сибирь торговать». Крыши воеводского подворья с коньками затейливыми над частоколом поднялись. Еще повыше вскинули кресты свои шатровые храмы да колокольни рубленные. А вокруг – избы попроще да попрземистей. В иных пусто – семьями умерли с голоду в прошлый год...

– Может, пора уже? Чего еще тут? – поторапливали Абрамова промокшие спутники. Но он не слышал их.

Дождь смолк. Тяжелая влажная тишина. Не тишина, а Царь-тишина...

– Да-а, – протянул вдруг Абрамов. – Здесь нельзя было жить без веры – без великой веры! Вот они, корни наши...

Вышагивая по мокрому разнотравью, он наткнулся на чудом пробившуюся веточку красной смородины и тронул ее ласково, как ребенка. Увидел темно-зеленую друзю побегов ольхи в низине, ринулся к ней и, обойдя вокруг этой зеленой семьи, дружно противостоящей здесь хиусам [жесткий зимний северо-восточный ветер при ясном небе, дующий с Карского моря] и стужам, заметил:

– Здесь иначе не выжить.

И снова стремился к травам, радуясь знакомцам по пинежским наволокам и вглядываясь в незнакомцев.

– А это как называется? А это? – то и дело спрашивал он.

К стыду своему, мы знали мало. Но ничто не омрачало его.

– Я сегодня счастлив! – говорил он то ли себе, то ли дальним лесам, то ли близкому – вот оно! – небу в дожде.

И я вспомнил, как героиня его рассказа «Из колена Аввакумова» старуха-северянка Соломея говорила:

– Одно Пустозерье на свете. В студеных краях, у Печоры-реки, где лиходеи великого праведника и воителя за истинные веры протопопа Аввакума сожгли... Первое дело – где это Пустозерье? На краю земли, где зимой и дня не бывает – все ночь, а летом опять ночи нету, все день, круглые сутки солнышко. А как туда идти-добираться? Откуда след начинать? Ну, надо обвет держать, раз даден...

И мне показалось: Федор Александрович Абрамов, для которого Аввакум и как личность неборимой силы, и как писатель, гениально владевший словом, значил очень много, давно, очень давно тоже дал себе «обвет» побывать в Пустозерске. Чтобы своими глазами и сердцем увидеть и почувствовать этот край, его прелесть и дикость, его силу и пагубу. Поклониться месту, где пятнадцать лет в земляной тюрьме томился Аввакум. И «Житие» свое гениальное написал и столько посланий и челобитных на Русь отправил, «берестяных хартий» с хульными рисунками и надписями на патриархов вселенских, что лопнуло царское терпение...

И потому, оглядывая небо и дали, подсвистывая какой-то пичуге и трогая травы руками, Абрамов снова и снова говорил:

– Я счастлив. Счастлив, что побывал на земле, где творил великий духом Аввакум!..

И может быть, именно в эти минуты жар того костра, который заживо пожирал непокорного протопопа – писателя и публициста семнадцатого века, полыхнул и опалил сердце Абрамова – писателя и публициста века двадцатого, создателя аввакумовской силы характеров, – тоже из колена Аввакумова...

Он последним прошагал к лодке.

То дергаясь на моторах, то «бродом» перетаскивая «прогрессы» через мели, мы пересекли озеро, направились в Устье.

Абрамов был весел и задирист.

– А ты что сидишь в лодке, как владыка, и не поднимаешься? – кричал он Александру Михайлову, которому сапоги с короткими голяшками не позволяли бурлачить вместе с нами. Но Абрамову понравилось словцо, которое он приклеил Михайлову, и он еще много раз по всякому поводу сочно и вкусно повторял:

– Владыка!..

И вот мы вваливаемся в избу Хайминых.

Печь натоплена, стол накрыт: вареная щука, соленые сиги, грибовница, шаньги, варенье из голубели, блины, сметана, молоко от своей коровы и – самовар! Абрамов извлек откуда-то заранее припасенную бутылку «Столичной».

– Для сугреву! – сказал, водрузив на стол.

Стаскиваем задубевшие мокрые одежды и обвешиваем ими горячую печь. Я чуть подвинул на веревке куртку Абрамова и тут же услышал:

– Ну, ты, паря, мой интерес-то соблюдай!..

Его хватало на все. Вытащив записную книжку, он уже расспрашивал о жите-бытье на Печоре в былые времена и старую хозяйку, Анну Андреевну Хаймину, и молодую, Елену Михайловну, учительницу, мать шестерых детей, тоже коренную печорянку.

Его радовало, что старшего сына в семье тоже зовут Федором, и этот рыжий 11-летний мужичок – уже кормилец в доме: рыбак, охотник и работник в сенокосную страду. Щука на столе – его добыча в Пустоозере...

Ему по сердцу пришлось дети Хайминых – спокойные рыжие здоровяки с русскими именами: Федор, Михайл, Андрей, пленили девочки – Марина, Надежда, особенно младшая, Агафья. «Ганя, Ганюшка, Агаша», – приговаривал он, как бы примеряя строгое имя к девочке.

Его восхищало то, с каким врожденным дотоинством, почти не говоря ни слова – «и нать молчит, и не нать молчит» – держал себя глава большой семьи, потомок древних печорян Анатолий Федорович Хаймин – его фамилия встречается в пустоозерских рукописях XVII века. Оказалось, они с Александром Михайловым, мать которого тоже из рода Хайминых, далекие родственники...

Говор и споры не стихали – о прозе и поэзии, о жизни на Севере ныне и прежде, и я получал живые наглядные уроки самой черновой писательской работы. То было жадное насыщение материалом.

«...Ах, какие у нас хорошие корни! Какой народ! – набрасывал тогда Федор Александрович в записной книжке. – Печора, Ширь, силища водная. Дикие и песчаные берега, поверху опушенные ивняками. Пустынно. Ничего живого, даже чайки – редкость. На Севере мало солнца, много стужи, да зато много человеческого тепла»...

Когда наши лодки вернулись в Нарьян-Мар, мы с женой пригласили Абрамова в гости – обсушиться и согреться. Узнав, что она москвичка и уже десять лет живет в Заполярье, он стал ее расспрашивать ее о семье, о том, как она решила сюда?..

«Было бы за кем», – ответила она, угощая его пирогами и нехитрыми северными деликатесами, из которых Федору Александровичу особенно понравилась морошка со сметаной.

Светлой летней ночью я провожал его до гостиницы. Мы шли по улицам посвежевшего, умытого дождем Нарьян-Мара, и Абрамов говорил:

– Писатель – это боль. Прежде всего боль. Писателем становятся в любом возрасте, когда придет Слово. Но никто не знает, когда оно придет и постучится. Один начнет очень рано, лучшую книгу свою пишет в двадцать, в двадцать пять лет, а другой – в семьдесят пять. Каждый писатель, если это настоящий писатель, – это особая, ни на кого не похожая судьба...

Размышляя, он все вокруг замечал, и даже то, что среди ивняка зеленой «бульварной» полосы на центральной улице тянутся вверх то лиственница, то березка, то рябина и черемуха – «как на Пинеге».

Наутро я уговорил его и Михайлова встретиться с местными журналистами.

Кабинет редактора газеты был набит. Пришли работницы типографии, библиотеки, учителя. Абрамова не было. Его задерживал интересный разговор с коренным пустозером Александром Спирихиным – внуком пустозерского волостного писаря, могила которого, увенчанная памятником еще в начале века, сохранилась до сих пор...

Но их ждали и они пришли.

Александр Михайлов поведал о давнем замысле приехать на Печору с Абрамовым:

– Я говорил ему: уж если с Пинеги тебе видна вся Россия, то с Печоры угол обзора будет еще больше для северного писателя – вершины мира, почитай...

А закончил свое выступление так:

– О Федоре Абрамове говорить – не переговорить. Еще более красноречиво о нем рассказывают его книги... А недавно на съезде он избран секретарем правления Союза писателей СССР, а это – высокая должность.

Абрамов был хмур. Наверное, был раздосадован, что вынудили покинуть колоритного собеседника для какой-то там встречи. И потому начал тихо и нехотя, будто по обязанности:

– Мне и говорить-то нечего... я восхвален и вознесен до небес. Правда, небеса сегодня низкие. Мы собирались нынче лететь в тундру. Это моя давняя мечта. Я, пожалуй, на Севере не знаю только тундру... Нет, многого не знаю! Оленей, например, оленеводов. Ягель – это беломошник по-пинежски, кажется. Но, к сожалению, нелетная погода. Александр Михайлов сказал, что я уже начальник. Куда ни приду – везде начальники. Люди, мало сведущие в литературе, придают этому значение. На самом деле все должности в литературе не стоят выеденного яйца. Секретарь, редактор и так далее – ну что это значит? Сегодня ты секретарь, завтра ты редактор и член правления. Послезавтра – ничего нету. Единственное, что заслуживает внимания в литературе, – это то, что написал человек. Написал хорошую книгу – это да! Написал плохую – вознеси себя хоть секретарем, навесь на себя хоть десять звезд – это ничего не меняет!.. Я северянин. Север вроде знаю, хотя мне кажется, по мере того как возрастают годы, что я знаю все меньше Север. Это, вероятно, всегда так... Трагедия мыслящих людей в том, что к концу жизни многие из них не знают, зачем жили. Что-то трагическое есть в этом. Вся история духовной культуры – это попытка объяснить, найти смысл жизни. Каждая эпоха, каждое поколение ставят цель, создают идеал, а потом... Беда в том, что, приближаясь к разгадке человеческого бытия, мы понимаем, что, по-видимому, ни в какую эпоху нам не дано узнать – природа не отдает нам этого, главного...

Постепенно Федор Александрович как бы оживал, разгорался. Его вела и увлекала мысль:

– А кто это такой – писатель? Да это просто человек, который больше других думает над вопросами бытия и смысла жизни. Другим просто некогда. В современном обществе существует глубокая дифференциация труда. Одни придумывают и создают атомную бомбу – черт бы ее побрал! Другие сеют хлеб, третьи учат. А есть такой труд – писать. И занимаются им писатели... Каким должен быть человек? Как ему прожить свою короткую жизнь? В чем его счастье? Как жить, чтобы все, что заложено в тебе природой, не пропало втуне и чтобы не наступать другим на пятки? Вот со всем этим и имеет дело литература. И в меру понимания, в меру таланта, в меру сил своих каждый писатель пытается ответить на эти вопросы...

На следующий день Федор Александрович улетел...

А через три месяца, студеной полярной зимой того же восьмьдесят первого года, когда в наших краях, как говорила абрамовская Соломея, «и дня не бывает, все ночь», пришла из Ленинграда бандероль.

Раскрыли мы ее и ахнули: книги Федора Абрамова «Бабилей». И сияющий весенним солнцем [автограф](#): «Виктору и Ларисе Толкачевым, современным Ромео и Джульетте из Нарьян-Мара, сердечно. Ф. Абрамов».

Вскоре мы узнали, что такие же бандероли получили Михайловы и Спирихины в Нарьян-Маре, Сумароковы в Тельвиске, Хаймины в Устье – все, у кого он побывал летом, всем «на добрую память, сердечно».

Новой встречей с Федором Абрамовым стало его яркое выступление на телевидении в Останкино.

Мы слушали его с особым волнением: снова «гостем» дома был человек, душа которого болела за все, что происходит в мире; о наших бедах и просчетах государства никто не осмеливался так говорить. Как и о необходимости «ростить» душу и жить, соизмеряя все со своей совестью...

Мы изредка переписывались. Он всегда отвечал. Пришла от него весточка и на этот раз: «Благодарю за сердечные слова о моем выступлении в Останкино. Хотя оно, выступление, урезано на 2,5 часа (я молотил 4!), но телезрителям оно пришлось по душе, и меня завалили письмами... 4.03.82 г.»

Приближался трехсотый апрель со времени того трагического костра, на котором был сожжен протопоп Аввакум со своими союзниками – сожжен за то, что «в юдоле земляныя своя тюрьмы на берестяных хартиях начертывал царские персоны и высокия духовныя предводители с хульными надписани и толковани и блядословными укоризнами».

Вместе с ними была уничтожена, первая, по сути, в истории русской культуры книгописная мастерская за Полярным кругом...

Имя Аввакума у нас долгое время было в опале. На моей памяти случай, когда редактору окружной газеты Андрею Тимофеевичу Кокшарову сделали строгое партийное внушение за публикацию предложения установить памятный знак на месте казни Аввакума. Дескать, он –

протопоп, расколоучитель, вождь старообрядчества, а вы ему – памятник?! Где ваша политическая бдительность?..

В постановлении бюро записали: «Осудить действия редакции газеты «Нарьяна вындер» (т. Кокшаров А. Т.), предоставившей страницы печатного органа окружного комитета КПСС и исполкома окружного Совета депутатов трудящихся для ходатайства об увековечении протопопа Аввакума» [Постановление бюро Ненецкого окружкома КПСС от 25.05.1971 г.].

Получив приглашение Пушкинского Дома на участие в традиционных Малышевских чтениях, посвященных на этот раз 300-летию со дня казни Аввакума, я прилетел в Ленинград и позвонил Абрамову...

– Дак приходите – жду! – сказал он с нарочито северной интонацией.

Первое впечатление от его просторного кабинета – здесь давно и прочно поселился Север. Стены и шкафы заставлены книгами, предметами крестьянского быта, поделками умельцев-северян. Братины и ковши, солонки и туеса, шкатулки и веретенца, старинные иконы, фотография матери и Марии Кривополеновой, картины друзей-художников...

– А как дела с книжкой? – неожиданно поинтересовался Федор Александрович, зная, что в Архангельске готовилась к изданию моя рукопись.

– Причесывают, – ответил я. – Выбрасывают острые эпизоды, фразы, строчки. Проблемный очерк становится «розовым», а публицистика – сладкой...

– Ты думаешь, только тебя причесывают? – вспыхнул он. – А меня знаешь как? Принес в «Новый мир» несколько рассказов. Так они – лучший! – отказались печатать. А там все правда. Пережитое. На глазах было, понимаешь! Голодная северная деревня военных лет. Пацанам невмоготу голод терпеть – мох-беломошник жрут, кору, солому. А потом страшные муки желудка, кишечника – запор... одно спасение: молока бы или обрата выпить. А как взять? Око недреманное было на ферме – мужик после ранения, с фронта. Жалости не знал. Но бабник – юбка мимо не пройдет. Так матери, детей жалея и спасая, сами под него ложились. И пока он, гад, удовольствие свое правил, дети пили эту спасительную жидкость... Так вот, мне сказали: «Не пойдет. Уж очень краски сгущены. Все черно». Я говорю: «Напечатайте! Там же все – правда!» А они свое: «Нет, не напечатаем». «Ах, так? Тогда я за границей напечатаю!» А они мне ласково так: «Не напечатаете, Федор Александрович. Вы ведь знаете, чем это кончается».

Он замолчал и уже спокойно закончил:

– Конечно, не напечатаю. И они тоже это знают...

Абрамов был явно не в духе. Даже бытовые мелочи взрывали его то и дело. И весь гнев и раздражение его обрушивались на близких – жену Людмилу Владимировну и племянницу Галю, когда они накрывали на стол, приносили почту; а то на партийных и правительственных бонз, появляющихся на экране телевизора... Какие-то тяжелые мысли терзали его. Все, о чем бы ни заходил разговор, он «разбивал» вдребезги, рубил с плеча:

– Людей от земли поотрывали – вот в чем беда! А сколько земли забросили, запаскудили! Деревень погубили сколько, сволочи! А там – корни наши. Как же без корней жить, поколения

поднимать новые?.. Все эти теории Маркса, учения и решения партии, пропагандистские кампании – полностью игнорируют многосложность души человеческой. А значит – лживы!..

Я уходил и не мог уйти. Меня завораживала его кипящая ярость. Стены маленькой прихожей были увешаны театральными афишами абрамовских спектаклей – все в автографах. И, казалось, будто все знаменитые актеры и режиссеры Театра на Таганке в Москве и Большого драматического в Ленинграде внимают гневу и боли его души, его выстраданных слов...

В Пушкинском Доме Абрамова приветливо встречали организаторы Малышевских чтений, но он старался быть незаметным, сел с краю, у прохода...

Чтения открыл Дмитрий Сергеевич Лихачев:

– Почему мы отмечаем дату казни писателя Аввакума?.. Да потому что смерть для него была не просто частью, а вершиной его творчества. Смерть была оправданным завершением жизни. Она освящает и объясняет его творчество. И чем ближе была смерть, тем устремленнее его творчество. Он был предан своему делу до конца. Все, что он писал, он писал перед лицом смерти. Он не боялся ее. Ему смешны усилия людей по устройству своего благополучия. Ему смешны люди, пытающиеся мучить или даже уничтожить его. Он называл их «дурачками». Он был искренен, прост, открыт до конца. Был наг перед истиной. Самосожженцы не поняли его. Мученическая смерть бессмысленна без мученической жизни, без целеустремленной, мужественной борьбы...

Федор Александрович напряженно слушал. И никто в мире не знал, как ЭТО уже близко к нему.

Чем ближе смерть, тем целеустремленнее творчество...

Интеллигентного, почти с физическим свечением духовности, академика Лихачева сменил на трибуне могучий бородач – доктор филологических наук Алексей Панченко. Его доклада – «Аввакум как новатор» – ждали. Ведь о консерватизме, а то и невежестве Аввакума многие исследователи говорят уже сто лет. Но докладчик убедительно доказывал и его новаторство, и духовную культуру Аввакума. До него на Руси людей учили келейно – у каждого был свой духовник. Аввакум стал пастырем целого войска воеводы Пашкова – проповедником, оратором, просветителем и «перед Богом ходатаем». Его нравственная установка: все, от царя до псаря равны! – тоже новаторство. Крамола.

Панченко говорил:

– Аввакум – реформатор языка. Просторечие он сделал своим важнейшим лингвистическим принципом. «Понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить». Он первым стал на путь, который потом санкционировал Петр, рекомендуя «писать так, как в приказах». Новаторская проза Аввакума, заново открытая в эпоху Толстого и Достоевского, стала одним из «вечных спутников» русского человека и духовным завещанием тысячам старообрядцев во всем мире. Аввакум отстаивал свои духовные ценности десятилетиями ссылки и тюрем, защищал своим творчеством, оплатил жизнью... В ответ на решение церкви, запрещающее хоронить старообрядцев в освященной земле и тем самым приравнивающее их к еретикам и самоубийцам, Аввакум писал: «Так добро и любезно

мне на земле лежати и светом одеяну, и небом прикрыту быти. Небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь...»

Я слушал, и во мне пел Ярослав Смеляков: «Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье повесьте упавшую с неба звезду...»

Я слушал, и во мне звучал Уолт Уитмен: «Запад и восток – мои, север и юг – мои. Земля, разве этого мало?...»

Такое космическое ощущение окружающего мира – суть сегодняшнего человека – гордого хозяина околосемных трасс и партнера Вселенной.

Но ведь Аввакум жил триста пятьдесят лет назад!..

Остальные выступления Абрамову были, наверное, неинтересны. Да и устал он сидеть в душном зале. Я вышел его проводить. Мы двинулись набережной Невки...

– Я тебя, парень, не очень вчера напугал, а? – спросил он и, помолчав, продолжал. – Это ведь только бесплодные души как чистый, промытый песок. Да только ничего в них не вырастет. А творческая душа – это чернозем, перегной, назем. Понимаешь? Думаешь, гладко было в семье, в душе у Толстого? А у Достоевского?.. Зато какие мысли, какие образы, какое СЛОВО! Не-ет, душа, конечно, не песок...

У Тучкова моста мы расстались.

Остро помню как он неторопливо, сутуло – руки в карманах плаща, чтобы ветер не раздувал полы, – уходил по мосту через Невку.

Сейчас думаю: через Лету...

В то лето я снова, уже со Спирихиным, побывал в Пустозерске – на старом Городище, где, по преданию, и был «зарублен» первый острог.

Свежий июньский день сверкал синевой и солнцем, когда мы на двух «прогрессах» двинулись к давно намеченной цели.

Всегда прекрасен бег по чистой печорской воде, с плавной сменой ландшафтов и ощущением заповедности наших северных мест.

Но поездка становится чтением книги по истории края, если рядом такой знаток его, как Александр Михайлович:

– Эти места почему-то Парнашки называются... А здесь сенокосы Мошаново... Это место – Прорыв. Весенней водой когда-то прорыло берег, с тех пор и пошло... Весноводьем отсюда можно и в Казенное озеро попасть...

Левый песчаный берег постепенно поднимался, пошли устьянские боры.

– Сено здесь косят и тельвисчане, и устьяне, – продолжал Спирихин. – Тут Власова дорога проходит. Что уж за Влас тут властвовал и когда – не знаю. Но если по пути в Городок останавливаются, то у Власовой дороги. Тут самое высокое место. Когда-то крестом отмечено

было. С того времени сенокосы «у креста» зовут... А это Косвиска. К самому Устью по озерам подойти можно. Вот Дрыгаловский остров и Дрыгаловская курья. Жили Дрыгаловы в Устье, а участки здесь были...

Впереди замаячило Устье.

– Шаром! Шаром идем! – крикнул Спирихин.

И сын его, сидевший на руле, резко отвернул «прогресс» от Устьянской виски в Городецкий Шар.

Вот она, Гнилка. Круто на вираже, заходим в протоку. Катера ткнулись в высокий берег, мы спешим подняться наверх.

Будто насыпан когда-то этот высокий вал, за которым стелется сухое ровное пространство, проросшее негустым леском. Мы обходим его «по валу», который так легко вообразить остатком древней стены, частоколом ограды, охватывавшей Городок...

Рельеф и характер местности действительно убеждают: здесь удобнее всего было быстро (за осень!) «зарубить» городок. Место высокое, сухое, явно не затопляемое. Рядом – водная дорога, внизу, в протоке – гавань, защищенная от ветра и печорских волн...

– А это не тот ли самый кедр? – показал рукой Спирихин [Первым о Пустозерском кедре сообщил нарьян-марский охотник-любитель В. Ф. Булыгин весной 1982 г.]

И мы увидели в отдалении дерево с темнозеленой, мощной по сравнению с остальными деревьями, кроной.

И заторопились...

Вообще-то ничего общего у нашего российского кедра с настоящим кедром нет. В разговорной речи и народных сказаниях «кедром», начиная с античности и по сей день, называют разные деревья. «Настоящий» кедр – это ливанский кедр, священное дерево в горах Ливана, стилизованное изображение которого вошло даже в герб этой страны. Известны четыре вида кедра: ливанский, атласский, кипрский и гималайский. Это могучие деревья до 50 метров высотой с раскидистой зонтичной кроной, семена которых, кстати, несъедобны. В Сирии и Ливане кедров осталось так мало, что каждое дерево взято под строгую охрану. Кедр гималайский, или деодар (что в переводе с древнеиндийского значит «небесный дар»), – тоже священное дерево.

В России посадки кедров появились в начале прошлого века и сейчас отдельными экземплярами и рощицами в несколько деревьев растут в ботанических садах Крыма и Кавказа.

Но слово «кедр» появилось на Руси давно, вместе с Библией, где оно часто употребляется без всяких ботанических характеристик для обозначения драгоценного материала, аромата, в качестве сравнения.

И когда русские первопроходцы, продвигаясь на восток, в Сибирь, встретили красивое, но незнакомое дерево с пушистой хвоей, съедобными плодами, ценной древесиной и столь не

похожее на сосну, они и окрестили его «кедром», о котором знали из книг Священного Писания.

Так разновидность сосны европейской, занимающей огромные пространства от верховьев реки Вычегды до верховьев Алдана на востоке Сибири и от Монголии до Заполярья, стала кедром, кедром сибирским. Но неужели такой кедр растет в Пустозерье?

Ветку необычного дерева я привез в Архангельский краеведческий музей. Вечный заведующий отделом природоведения Анатолий Александрович Гасконский, как и всегда был на месте.

Я молча положил перед ним ветку с пышной зеленой хвоей...

– Пинус цембра, – сказал он мгновенно по-латыни и тут же перевел: – Сосна сибирская – кедр! Откуда?

Узнав, что кедровая ветка прилетела из Пустозерска, удивился и обрадовался. Ведь до сих пор считалось, что северная граница кедра на Европейском Севере нашей страны отмечена широтой 65 градусов 45 минут, у деревни Конецбор в Коми республике. А пустозерский кедр, выросший за Полярным кругом на широте 67 градусов 32 минуты, сразу на несколько сот километров передвигал свою границу на север.

Как попали семена сосны сибирской в Пустозерск, «место тундряное, безлесное»? Занесли ли их весноводьем с верховьев Печоры? Или посадил их когда-то какой-нибудь пустозерец, любивший свой край и желавший сделать его краше? Наконец, как выжил и окреп росток-чужак в беспощадно суровых условиях? И сколько уникальному дереву лет: сто? двести? Немало, если учесть, что срубленный когда-то основной ствол «обтекли» и поднялись на высоту шести метров три молодых ствола. [Возраст кедра определили специалисты Архангельского института леса и лесохимии. Он оказался ровесником Федора Абрамова!]

Я выслал Федору Абрамову рассказ о кедре. Он долго не отвечал, и я подумал: мало ли хлопот у писателя и без нас, не до писем ему... Но ответ пришел:

<...>

Давно, очень давно получил Ваше письмо, а вот ответить вовремя не удалось. Из-за суеты, из-за работы и, увы, болезни. Перечитывая сейчас Ваше письмо, я снова мысленно проделал путешествие в Ваши гостеприимные края и снова подивился золотым людям, которые там живут. Передайте мой поклон и самый сердечный привет Спирихиным и Сумароковым и, конечно, Вашей прелестной Ляле.

<...>

Еще раз добра и счастья! Ваш Ф. Абрамов. 30.03.1983 г.»

Это грустное письмо, написанное всего за полтора месяца до «катастрофы», как называл Абрамов в разговорах с близкими свою возможную смерть, свой черный вариант, веет предчувствием, звучит завещанием и согрето абрамовским добросердечием.

То был его последний поклон Пустозерску и Аввакуму.

Утром 15 мая 1983 года я был в редакции «Советской России». В фотоархиве мне разрешили поискать фотографии участников экспедиции, двигавшейся на собачьих упряжках от Чукотки до Мурманска, о которой я писал в этой газете. Отобрав несколько снимков, я должен был уходить, но что-то удержало меня, я перевернул еще несколько листов подшивки и замер – на меня пронизывающе-скорбно глядел Федор Александрович Абрамов... Я помнил этот снимок, опубликованный в газете небольшим размером – «одноколонником» – он не произвел тогда особого впечатления.

А тут... Какой-то вопрос – в суровых, широко раскрытых глазах, от которых не отвернуться; напряжение мысли в собранных поперечинах лба, смирение в кистях рук, охвативших подбородок... И часы на запястье, отсчитывающие Время... Я не имел права брать этот портрет из редакционного архива. Но я взял его и, прикрыв на груди пиджаком, медленно вышел.

По коридору стремительно двигался Арсений Ларионов – заведующий литературным отделом газеты; остановился на секунду и выдохнул смятенно:

– Федор Абрамов умер.

...В Верколе, на высоком берегу Пинеги, в родной земле навсегда успокоилось сердце неистового правдоискателя и правдосказателя.

Успокоилось его сердце. Но не его книги! Не книги, в которых навсегда оставила свой след беспокойная душа писателя.

Написанные любовью и болью, живым русским языком, они будут волновать и учить созидательному отношению к земле и совестливому ко всем, на ней живущим, еще многие поколения.

2000-2019

Письма Ф. А. Абрамова в Нарьян-Мар

Учащимся ГПГУ-24, участникам читательской конференции [Конференцию по произведениям Ф. Абрамова провела библиотекарь училища А. П. Торопова и сообщила о ней писателю]

28 апреля 1982 г.

Дорогие товарищи!

Получил от Вас письмо и приношу сердечную благодарность.

Я рад, что мои книги находят отклик в Ваших сердцах и помогают Вам хоть немножко разобраться в сложностях нашей жизни. От всей души желаю Вам счастья и всего хорошего!

Еще хочется, чтобы на Вашу землю, на красавицу Печору, которая прошлым летом просто очаровала меня, поскорее пришло тепло, поскорее пришла весенняя радость.

Ваш Ф. Абрамов

Семье Толкачевых

Ленинград

17 января 1982 г.

Дорогой Виктор! (Бога ради, простите, – забыл отчество.)

Спасибо за весточку о себе, за новогодние пожелания. И, конечно, за карточки. Примите и от меня ворох самых лучших пожеланий в год собаки. Я рад, что Ваша книжка уже в плане. Надеюсь, все будет в порядке. Но на всякий случай я сегодня написал Ю. Сапожникову (это секретарь обкома), чтобы он проявил к Вашему детищу доброе отношение.

Привет Вашей милой жене.

Ф. Абрамов

Ленинград

4 марта 1982 г.

Дорогой Виктор Федорович!

Неужели моя просьба к Ю. Сапожникову могла Вам повредить? Я не верю. Ну, а если все же Вы почувствуете на себе, дайте немедленно знать мне: я сделаю новый заход, и тогда уж наверняка все будет в порядке. Кстати, Ю. Сапожников молчит. Это небывалый случай. Может быть, его нет в Архангельске?

Я от души желаю Вам добра и не сомневаюсь, все так и будет, как Вы запланировали.

Привет и самые добрые пожелания Ларисе...

Благодарю за сердечные слова о моем выступлении в Останкине. Хотя оно, выступление, урезано на 2,5 часа (я молотил 4!), но телезрителям оно пришлось по душе, и меня завалили письмами.

Еще раз прошу: будут трудности, пишите, и я сделаю все, что в моих силах и возможностях.

Ваш Ф. Абрамов

Ленинград

Дорогой Виктор Федорович!

Давно, очень давно получил Ваше прекрасное письмо, а вот ответить вовремя не удалось. Из-за суеты, из-за работы и, увы, болезни, о которой Вы уже знаете.

Перечитывая сейчас Ваше письмо, я снова мысленно проделал путешествие в Ваши гостеприимные края, снова подивился золотым людям, которые там живут [Записки Ф. Абрамова о поездке на Печору опубликовала его вдова Л. Крутикова-Абрамова в книге «Дом в Верколе». Л. 1988 г.] Передайте мой поклон и самый сердечный привет Спирихиным и Сумароковым и, конечно, Вашей прелестной Ляле. Особое спасибо Вам за статью [Кедр и память // Нарьяна вындер. 1982. 24 нояб.] Замечательная статья! Есть у Вас Слово, и дай Вам бог взрастить и собрать богатый урожай. Ну, а кедр за Полярным кругом – это просто сказка. Хотелось бы еще раз побывать на Печоре, в Пустозерске, но удастся ли? Время клонит к закату, а так много всяческих дел, «задумок»! Впрочем, зачем это я? Обычная человеческая история.

Какие Вас есть мои сочинения? Хотелось бы что-нибудь прислать. От души желаю всего доброго! Будете в Питере, милости к нам. Только дома-то мы бываем редко. Летом на Пинеге, да и в другое время нас нелегко застать.

Еще раз добра и счастья!

Ваш Ф. Абрамов

NB: у меня новый адрес [В светлой просторной квартире на ул. Мичуринской Ф. Абрамов не успел пожить].